



# Содержание

*От редактора*

7

## Соглядатай

Повесть

11

## Рассказы

Обида

97

Лебеда

111

Terra Incognita

122

Встреча

134

Хват

146

Занятой человек

160

Музыка

177

Пильграм

186

Совершенство

207

Случай из жизни

223

Красавица

233

Оповещение

240

## *От редактора*

Набоков приступил к сочинению «Соглядатая» в конце 1929 г. в Берлине, вернувшись к своей идее помертвой «инерции» жизни, развитой им в стихотворной драме «Смерть» (1923). Повесть была окончена в феврале следующего года и в середине марта передана редактору журнала «Современные записки» И. И. Фондаминскому. 16 мая 1930 г., приехав к матери в Прагу, Набоков писал жене: «Семья моя поняла “Соглядатая” в том смысле, что герой в первой главе умер, а душа его потом перешла в Смурова»<sup>\*</sup>.

Журнальная публикация состоялась в 1930 г., после чего Набоков заручился обещанием «Петрополиса» и «Современных записок» выпустить повесть отдельным изданием, однако эти планы не осуществились. Книга вышла только в 1938 г. в новом издательстве «Русские записки», выпускавшем одноименный журнал и печатавшем книги в Шанхае. 3 мая 1938 г. издатель «Русских записок» М. Н. Павловский писал Набокову из Шанхая:

<sup>\*</sup> *Набоков В. Письма к Вере / Коммент. О. Ворониной и Б. Бойда. М.: Колибри, 2017. С. 175. (Здесь и далее – прим. ред.)*

Дорогой Владимир Владимирович,  
Мы приступили к печатанию Вашей книги рассказов и обнаружили, что если в нее включить все данные Вами рассказы (21), то получится не менее 350 стр. — формата изданий «Петрополис»  $5\frac{1}{2} \times 7\frac{3}{4}$  дюймов. Так как увеличить пропорционально цену нет практической возможности, мы надумали следующую комбинацию. В одну книгу (под заголовком «Соглядатай») мы дадим 13 рассказов: Соглядатай, Обида, Лебеда, Тегга Incognita, Встреча, Хват, Занятой человек, Музыка, Совершенство, Пильграм, Случай из жизни, Красавица и Оповещение. Это составит книжку в 230–240 страниц.

Остальное мы хотели бы издать второй книгой <...> Сделать это мы можем, конечно, при условии Вашего на то согласия. <...>

Мой искренний привет Вам, Вашей супруге и обоим — Митеньке.

Ваш М. Павловский\*

Набоков ответил согласием, и 3 июня 1938 г. Павловский выслал для него в Париж экземпляры напечатанного сборника. 29 июня Набоков писал Павловскому из Ментоны: «Получил 2 экземпляра “Соглядатай” и аванс за “Весну в Фиальте” (полторы тысячи фр.<анков>). Благодарю вас. Мне чрезвычайно по-

\* Письма М. Н. Павловского к Набокову см.: *Шруба М.* «Меценат изумительный!»: издательская деятельность М. Н. Павловского // Издательское дело российского зарубежья XIX–XX в. / Отв. ред. П. А. Трибунский. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2017. С. 106–107.

нравилась внешность “Соглядатая” — и у вас гениальный корректор!»\*

Подготовленный Дмитрием Набоковым при участии автора английский перевод «Соглядатая», под названием «The Eye», вышел в нью-йоркском издательстве «Phaedra» (рассказы переводились и печатались отдельно). В предисловии к английскому переводу повести Набоков обрисовал ее время действия и круг персонажей:

Время повествования — 1924–1925 годы. Гражданская война закончилась четырьмя годами раньше. Ленин только что умер, но его тиранический режим продолжает здравствовать. Двадцать немецких марок стоят чуть меньше пяти долларов. Между апатридами, живущими в том Берлине, что описан в книге, встречаются люди самых разных состояний, от нищих до преуспевающих коммерсантов. К этим последним принадлежит Кашмарин, Матильдин *cauchemaresque*\*\* муж (вероятно, бежавший из России южным маршрутом через Константинополь), равно как и отец Евгении и Вани, пожилой господин, который умело руководит лондонским отделением одной немецкой компании и держит танцовщицу. Кашмарин относится к сословию, которое англичане называют «средним», но две барышни, живущие в доме номер 5 на Павлиньей, явно благородного происхождения <...> что не мешает им иметь мещан-

\* Там же. С. 107.

\*\* Кошмарный (*фр.*).

ские литературные вкусы. Муж Евгении, человек с мясистым лицом и с фамильей, которая на теперешний слух звучит несколько комично, служит в берлинском банке. Полковник Мухин, неприятный сухарь, воевал в 1919 году в армии Деникина, а в 1920-м — Врангеля, говорит на четырех языках, имеет холодные, светские манеры и верно будет преуспевать на теплом местечке, на которое его прочит будущий тесть. Роман Богданович — остзеец, в котором больше немецкой культуры, чем русской. Чудаковатый еврей Вайншток, женщина-врач, она же пацифистка Марианна Николаевна, и сам повествователь, ни к какому классу не относимый, суть представители разнообразной русской интеллигенции\*.

Вошедшие в сборник рассказы публиковались в журнале «Современные записки», газетах «Сегодня» и «Последние новости» («Пильграм» — 1930 г.; «Обида», «Лебеда», «Terra Incognita», «Встреча», «Занятой человек» — 1931 г.; «Хват», «Музыка», «Совершенство» — 1932 г.; «Красавица», «Оповещение» — 1934 г.; «Случай из жизни» — 1935 г.).

Настоящее издание печатается по тексту сборника 1938 г. с исправлением замеченных опечаток и приведением написания некоторых слов к современным нормам.

\* Перевод Г.А. Барабтарло.

# Соглядатай

Повесть



*Посвящается моей жене*

# 1

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера — в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унижительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: «Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет зонт обратно». С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне — эта

разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в пурпурный комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено, и когда, отведя восвоеси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмокания и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостях вместе, — муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак, перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, — что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь была, как в барабан. Этот зонтик, — потом, в квартире у Матильды, — распятый вблизи парового отопления, все капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку («Мурочка, история одной жизни»). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор — о муже. Этот человек — благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если бы узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив. Я старался переменить разговор, но это был Матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия и действительно сейчас в Париже, почуя беду, таращит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от расцветного ветерка горит лицо, как после гри-ма, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое сча-

стье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыть-ся, и завидуя всем тем простым людям — чиновникам, революционерам, лавочникам, — которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок, оттого что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: «Здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все — понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, — и умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, которая на лестнице или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошептать: «Сумасшедший мальчик...» — Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где слу-

жил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку немку, у которой прежде снимал комнату, — вот и обчелся. Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречному тяжелел, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух «Роман с контрабасом», тщетно пытаюсь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчики сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубку к уху. Мои ученики стояли подле — один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. «Сейчас